

ЛИЧНОСТЬ проявляет себя разнообразными способами. Человеческой культуре прибавляется от великого и от малого. Счет принадлежит времени. Но людям он принадлежит тоже. Счастливы тот, кто, последовательно осуществляясь, приносит свое на алтарь общего, и это не отвергается, неузнанное и непризнанное, а принимается как вклад.

Я имею в виду и персонажей книги «Строгая литература», выдвинутой ныне на соискание Государственной премии СССР, и ее автора — публициста и критика Бориса Панкина.

Персонажи следующие: Федор Абрамов, Чингиз Айтматов, Даниил Гранин, Валентин Распутин, Михаил Рошин, Юрий Трифонов и другие.

Мы иногда представляем себе литературный процесс чем-то вроде народной стройки. Каждый по кирпичику — и возводятся славное здание, которым можно гордиться. А между тем процесс сугубо индивидуален, и участвуют в нем индивидуальности. Мысль эта не моя, она содержится в книге Панкина. Эти индивидуальности он и рассматривает неспешно, обнаруживая в каждой сокровенную суть, ее золотое сечение.

Вот Чингиз Айтматов. Фигура крупная, объемная, вбирающая в себя целые пласты. Можно написать о философской насыщенности его книг. Можно — о социальной остроте его мысли. Можно — о характере человека как бы незадавшегося, который почти всегда в центре его произведений, и отсюда — о системе ценностей. Можно — о народном источнике творчества. Автор продвигает это как надо. Тонкость его взгляда в том, что он открывает нам существо поэтики Айтматова. Едва ли не все на этом свете, истинное и ложное, преходящее и долговременное, материальное и идеальное, писатель поверяет миром ребенка. Вообще говоря, ребенок, детство, как камертон, — вещь довольно распространенная. Столь многое поверить детством и в столь оригинальных, уникальных формах, как это делает Айтматов, — вещь редкостная. Панкин нигде

СОВПАДЕНИЕ СУДЕБ

не говорит об этом, потому, верно, что и Айтматов о том ни разу не сказал, но возможно, что та же пронзительная «слезинка ребенка», которой мучился Достоевский, воспринятая глубинами писательского, человеческого сознания, своеобразно, сильно, мощно отразилась на всем строе идейно-художественного мышления Айтматова.

Исследуя путь Валентина Распутина, автор указывает на недоюжную его способность угадывать и воспроизводить глубокую внутреннюю логику людских взаимосвязей, порывы, диалектику души. Сразу следует сказать, что, ставя в название сборника слова «Строгая литература», имеющие в виду взыскующее, честное отношение писателей к своему труду, Панкин предъявляет и к ним такой же требовательный счет. Он вовсе не умиляется и не принимает все чохом даже у самых прославленных авторов, сохраняя не только трезвость взгляда, но и — при спокойствии и доброжелательности тона — свой индивидуальный подход к вещам.

Первым повестям Распутина оценка дается в контексте творчества в целом, и очевидными становятся диалектика развития, преодоление слабостей, мужские таланты. В то же время, отменно разобрав достоинства и недостатки последнего произведения Распутина «Прощание с Матёрой», критик поднимается до такого уровня, когда признается возможная правота художника в ущерб собственным эстетическим пристрастиям. Речь идет об экстремальном сгущении, уплотнении смысла, при котором добротный реализм вдруг дополняется символом и в результате символом же оборачивается. Введение таинственного зеркала, которого писатель называет Хозяином, притчеобразный характер «Матёры», признает

критик, существуют для того, чтобы довести до нашего сознания настойчивую, страстную мысль: думайте о земле, на которой живете, о Земле как о планете в целом, как о живом существе, которому холодное, неразумное обращение грозит бедой.

Личность Федора Абрамова вызывает у Панкина размышление не просто о профессиональном даре, но о даре человечности — качестве, которое автор, судя по всему, ценит особо.

Подробно, конкретно, шаг за шагом прослеживает он судьбу центрального персонажа Абрамова — Михаила Пряслина, как будто всякую, даже малую деталь его поведения и характера хочет пояснить, чтобы не остался Мишка Пряслин ложно или плохо понятым. Анализ, да. Но и чуть ли не пересказ. И вдруг является объяснение: на этих едва ли не наивных страницах — любовь к герою как к живому человеку. Возможно, тут совпадение личных судеб, возможно, совпали поколения, но эта незащищенность чувства зрелого, умудренного опытом критика, право, трогает.

Панкин и сам обнаруживает человечность и тонкий психологизм, когда сравнивает, к примеру, пусть мимолетно, женские образы у Абрамова, Распутина, Шукшина и Трифонова. Они, конечно, сами по себе. Но они, как справедливо полагает Панкин, отражают и авторскую точку зрения. Женщины Шукшина, по слову критика, как правило, суежны, бессмысленно озлоблены, не видят дальше собственного носа. Некоторую досаду вызывает городская Люся в «Последнем сроке» Распутина — авторской заданностью, нарочитостью определенных ее черт. Трифоновские женщины более органичны, но и здесь, увы, просматривает-

ся общий недоброжелательный, хотя и вполне реалистический ракурс. Панкину ближе других Абрамов в обрисовке женских образов. «Взгляд Абрамова на женщину, — пишет он, — более мужской, мужественный, а оттого и более объективный, глубокий».

Еще одна многосложная, особенная фигура — Юрий Трифонов. Панкин прослеживает поворот его от героики ранних произведений к «мелочке» поздних городских повестей — известного «пятюкиния».

Критическая фаза, «предварительные итоги» — возраст трифоновского героя, по данным науки, сам по себе чреват стрессами и возможными роковыми ситуациями. И все-таки большинство, пишет критик, не умирает, большинство переаггирует опасный рубеж. Повесть Трифонова «Другая жизнь», любимая повесть критика, — о том, кто умирает. Бывают такие люди, как бы без кожи, с обнаженными нервами, реагирующие на то, что происходит с эпохой, с людьми, с планетой, остро и больно. Панкин чувствует такого героя, его проблемы — наши проблемы — изнутри, и это придает особо убедительную силу его откровенным и серьезным размышлениям.

В работах Панкина, при всей спокойной доказательности его манеры, ощутимы пристрастия, что и делает критику — подобно литературе — личностной, индивидуальной.

Из статьи в статью — разнообразно и любопытно — переходят излюбленные мысли автора, вернее сказать, он настойчиво и последовательно возвращается к предметам, которые представляются ему наиболее важными. К ним принадлежат рассуждения о задачах, которые ставит перед литератором жизнь, об умении сортировать их, отни-

мая сущностные, по-настоящему касающиеся писателя, от других, не менее сущностных, какие стоят перед гражданином, но писатель не должен сломя голову кидаться отображать их, он должен понимать, где временное, а где вневременное. Он протестует против тематического подхода к искусству, зовет разграничивать основные тенденции современности и — веяния, поветрия, синонимутные рабочие потребности. Резкое сопротивление вызывает у него арифметический подход к литературе, не раз говорит он об отличии литературы от статистики.

«Зададимся вопросом, — пишет он в связи с «Восхождением па Фудзияму», — если на наших глазах происходит суд — беспощадный, бескомпромиссный — над всем, что унижает человека в человеке, делает его мелким, суежным, эгоистичным, суд над тем, что противоречит нашим идеалам, нашим представлениям о человеке нового общества, — если такой вот идет суд средствами искусства, то что для нас важнее: соотношение числа оправданных и осужденных или уверенность в справедливости, правдивости приговора?»

И еще раз вспоминает он незадачливых рецензентов, подсчитывающих проценты и убытки литературной реальности на бухгалтерских счетах, — в разговоре об Абрамове, которого упрекали в том, что изображаемая им послевоенная жизнь слишком тяжела.

Панкин не приемлет никакие виды и формы вульгаризаторства. Его интересы критика и публициста связаны с такой литературой, которая, «желая воспеть сегодняшнего человека, не будет гримировать его». Желая сказать о величии времени, она не остановится в страхе и растерянности перед его противоречиями и не захочет сгладить их».

Статьи в сборнике не равны друг другу. Иная вроде бы не задается. То есть все и умно, и профессионально, но в одном случае внутренний запас страсти, в другом — некая вялость, что-то не выпевается, нет того свободного широкого дыхания, какое присуще лучшим статьям. Но, видимо, так и бывает у критика, у публициста с сердцем. Сердце не умеет откликаться равно на всякий зов.

Ольга Кучкина